

Саша
Николаенко

УБИТЬ Бобрыкина, или История одного убийства

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУВИНОЙ

Премия
«РУССКИЙ БУКЕР»

Александра Николаенко
Убить Бобрыкина, или
История одного убийства
Серия «Классное чтение»

Текст предоставлен правообладателем

<https://litres.ru/27050493>

*А. В. Николаенко. Убить Бобрыкина, или История одного убийства:
ООО «Издательство АСТ»; Москва; 2023
ISBN 978-5-17-152635-1*

Аннотация

<p>«Убить Бобрыкина» (премия «Русский Букер») – роман-нежность и роман-трагедия, психологический детектив и любовная история. Герой Саша Шишин – не от мира сего; он от мира детства. И его любовь, девочка Таня, и ненависть – соперник Бобрыкин – тоже родом из детства. Победе над Бобрыкиным мешает мать Шишина, для которой взрослый сын остается вечным дурачком. Выход один: убить Бобрыкина... Так было ли в этом «сложнейшем» (по словам Галины Волчек) романе убийство? И кто кого убил?</p><p>«Убийство было. Убийство целого мира – Изумрудного города больших надежд. История убийства одной любви» (Саша Николаенко).</p><p>«Быть может, это лучшая русская книга начала XXI века.

Ни одного лишнего слова, ни одной фальшивой ноты» (Сергей
Беляков).

Содержание

Часть первая	6
Глава 1. Веревка	6
Глава 2. Камера	16
Глава 3. Два капитана	26
Глава 4. Приближе к нему	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Александра Николаенко

Убить Бобрыкина, или

История одного убийства

© Николаенко А. В., текст, иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Часть первая

– Слушай, Элька, – пробормотал Сундуков, поддаваясь очарованию заповедной улочки. – Неужели мы когда-то были детьми?

– Меня другое волнует, – ответил, подумав, Флягин. – Неужели я когда-то стал взрослым?
Николай Якушев. Люди на корточках

Глава 1. Вербка

«Удавлюсь!» – подумал Шишин и за веревкой в хозяйственный пошел.

– Куда собрался? – спросила мать.

– За веревкой, – ответил Шишин.

– А-а... – сказала мать. – И мыла заодно купи. У нас все мыло кончилось, – добавила она.

– Земляничного? – поинтересовался Шишин.

– Земляничного, какого? – кивнула мать.

– А если земляничного не будет, дегтярного купить? – И Шишин посмотрел на мать довольный, радуясь, что вспомнил слово, которое все время забывал. «Дегтя-а-арное...» – подумал он.

– Дегтярным веревку себе намыль и удавись, – сказала мать.

«Ладно, земляничного куплю. Им от Танюши пахнет...»
– и снял с крючка собачью шапку.

– Только денег дай мне, у меня нет их.

– У тебя их нет, а я печатаю! До смерти жилы будешь из меня тянуть, – бубнила мать, но денег Шишину дала.

«Жадная...» – подумал он и за веревкой в хозяйственный пошел. «Мыло заодно куплю, а на всю сдачу куплю веревку и повешусь», – думал, вдоль забора неохотно плелся к переходу.

Магазин «Хозяйственный» через дорогу был, как все хозяйственные магазины. «Все хозяйственные магазины через дорогу. Почему?» – подумал вдруг, переходя дорогу. И испугался посередине, что светофор переключится, все поедут и его раздавит насмерть. От страха опустил глаза и шел сутулясь, боязливо косясь на сонные дорожные столбы. Он светофоров не любил и турникетов тоже. В метро особенно опасно, возле турникетов – того гляди возьмут и треснут. «Схлопнут – и пиши пропало», – и турникеты проходил зажмурясь, удара ожидая, оглянувшись, думал с облегчением: «Что, собака, съел?!» И если рядом не было людей, то дулю турникету показывал или язык. Но люди обыкновенно были.

«Повсюду люди, – с раздражением думал он. – Битьём людьми набито, как в аптеке», – и редко удавалось турникету показать язык и дулю. Шишин не любил, когда повсюду люди, и людям тоже Шишину хотелось показать язык и дулю, но мать не разрешала баловаться и была Шишина ребром

ладони по дуле или языку.

«Злая мать моя», – подумал, живым пройдя дорогу, и светوفору показал язык. Пока не видит мать. И люди. «Не люблю людей».

День был тихий, белый. Снежным облаком лежало на крышах небо.

«Как в больнице», – и снег мочил ему лицо, и ветер безжалостно трепал за капюшон. А под ногами шлямкало и жижей воротило за шнурки.

«Жалко все же, что меня машиной не задавило насмерть, – размышлял, шагая дальше. – Не надо было бы теперь в хозяйственный спускаться, веревку покупать. Там лестница у них такая скользкая, что можно шею запросто себе свернуть, ни разу чем-нибудь специальным не посыплют – сидят и ждут, пока я шею у них себе сверну». И Шишин, держась за поручень обеими руками, осторожно стал в магазин хозяйственный спускаться.

Еще не нравился ему у магазина козырек со снежным горбом. «Не убирают снега, паразиты, – думал он, опасливо косясь на козырек, – за что им только деньги платят?..» Шишин не любил еще, когда сосульки высоко висят, под самой крышей. Особенно в капель. Того гляди – опля! – и всё. Любил, когда сосульки низко, под какой-нибудь витриной бородой висят, чтоб можно их сбивать и обрывать руками. Шишин с детства любил сбивать и обрывать сосульки, сосать, пока не

видит мать, или в кармане принести домой – и в морозилку. И посмотреть, что будет. Мать не любила, если морозилка сосульками набита, и выкидывала их.

«Злая мать моя», – он обернулся боязливо (всегда казалось Шишину, что может мать следить, как он, в хозяйственный спускаясь, оглядывался, опасаясь, не следит ли мать за ним) дверь потянул, шагнул в тепло. Тепло дышало ацетоном, краской, порошками, дихлофосом...

«Клеенкой свежей пахнет», – он вдохнул. Любил, когда клеенкой свежей пахнет, как на праздник пирогами, и праздники любил, чтоб гости, когда придут с тортами и в пальто, дарили шоколадки. И он, задумавшись о многом, бродил меж полок в поисках веревки. На полках были круглые тазы оранжевого цвета, ежики для унитазов, кастрюли, крышки, шланги, лейки, лаки в черных липких баках, кружки, чашки... Скипидар.

«Скипидар...» – прочтя, подумал он, он так любил, прочтя, подумать, что прочел...

Он медленно дошел до края ряда, уткнувшись взглядом в обойные ряды, и вдоль рядов обойных раздраженно зашагал обратно, думая о том, что много слишком делают обоев, стенок мало. На все обои ни за что не хватит стенок. И, не найдя веревки, к кассе подошел.

– Веревки есть у вас? – спросил у кассы Шишин.

– Какие вам?

– Обычные, какие?

– Обычных нет, – сказали из-за кассы.

«Обычных нет у них веревок, как ни спросишь. Все с вывертом какие-то веревки, с подковыркой. И смотрят вечно из-за кассы как на дурака», – и Шишин хмуро, пристально смотрел поверх прилавка на черную чугунную сковороду.

– Крепежные есть. Бельевые. Австралийские, из шерсти ламы. Синтетика. Канат. Какую вам?

– Не надо мне канатов. Мыло есть?

– Вам земляничное? – спросили из-за кассы.

– Земляничное, какое? – ответил Шишин. Шишин только земляничное любил. Из-за Танюши. Земляничным мылом от Танюши пахнет – вспомнил, и, о Танюше вспомнив, угрюмо посмотрел вперед. Потом назад. Он так всегда смотрел назад после того, как посмотрел вперед: на мать, на кошек, на ворон, на то, как роют ямы возле дома, на школу и забор. На все. И Шишин снова посмотрел вперед, поверх, на черную чугунную сковороду.

– Есть только «Ландыш», детское... дегтярное еще... – сказали из-за кассы.

– Дегтярного не надо, – вздрогнув, буркнул Шишин. – А когда завоз?

«А если земляничного не будет, – учила мать, – не вздумай “Ландыш” покупать, его из кошек варят. Из кошек, понял? Понял у меня?» – «Да понял, понял». – «Спроси у них, когда завоз, когда завоз, тогда пойдешь и купишь. Слышишь

у меня?» – «Да, слышу, не глухой», – подумал он, и ждал, когда ответят из-за кассы, когда у них завоз.

– Не будет никаких завозов. Аренда кончилась, распродается, – сказали из-за кассы, – дегтярное берите, «Ландыш», по закупочной цене. Канат. Берите, может, больше и совсем не будет. Кризис!

«Мать тоже “кризис” вечно говорит», – припомнил Шишин, с неприязнью разглядывая ту, которая за кассой.

Красивая, почти что как Танюша. «Но все же не она», – подумал он и к выходу ни с чем пошел.

На улице за вечерело тускло, серо, гадко. Как назло, встретился под самым козырьком опасным Шишину красивый Бобрыкин ненавистный, в лоснящейся бобровой шапке, белозубый, чернобровый, в широком шарфе, небрежно брошенном за спину, с румяными щеками, носом, от морозца алым. И ветер, как обычно, дул, плевался Шишину в лицо, Бобрыкина придерживая дружески за спину.

– Здорово, Шишкин лес! Брателло! – сказал Бобрыкин ненавистный, ухмыляясь, – ты не в курсе, у них веревки есть? обыкновенные? – добавил он.

И Шишин посмотрел назад, потом вперед. «Гораздо лучше, если знаешь, что будет впереди – без неожиданностей чтобы», – думал он и, убедившись, что впереди стоит Бобрыкин ненавистный, второй раз посмотрел спокойно, зная,

что неожиданностей впереди уже не ждать.

– Тебе зачем? – поинтересовался он.

– Нужно... – отмахнулся Бобрыкин ненавистный.

«Меня, наверное, повесить хочет, сволочь», – тихо думал Шишин, угрюмо глядя снизу вверх Бобрыкину в лицо. Бобрыкин улыбался. «Мразь...» – подумал Шишин, уже совсем тихонько. Он всегда старался думать тихо-тихо, если лицом к лицу оказывался с тем, о ком подумал он.

– Нет обыкновенных, – сказал злорадно, ожидая, как огорчится у Бобрыкина лицо.

– Посмотрим... – пообещал зловеще ненавистный, и было видно по его суровому, красивому лицу, что если веревок нет обыкновенных, то он повесит Шишина и на канате, или на шарфе повесит, или задушит голыми руками, без всего.

– Чего смотреть-то? Нет обыкновенных у них веревок, да и всё. Как ни смотри...

– Посмотрим, – твердо повторил Бобрыкин ненавистный, отстраняя Шишина от входа, и спускаться стал.

«Иди-иди... Посмотрим!» – думал Шишин, показывая следом ненавистному Бобрыкину язык и дулю, пока не видит мать.

Сам Шишин некрасивый был, маленький, в болотной куртке старой, перьём свалявшимся набитой, в дрянь колючей, влажной и худой. Бобрыкин был в хорошем пальто демисезонном, верблюжьей шерсти, скроенном футляром, с норковым окладом, и сразу после школы на Танюше был же-

нат.

«Бобрыкин ненавистный, ненавистный!.. — думал Шишин. — На моей Танюше!» — думал он, желая взглядом козырьку упасть Бобрыкину на спину. Но козырек не падал, ветер выл, плюясь на Шишина, и был с Бобрыкиным, как раньше, заодно.

«Погодка... — думал Шишин, — тьфу какая!», от ветра отворачиваясь, морщась, но не уходил. Ему хотелось видеть, как Бобрыкин ненавистный тоже без веревки выйдет, «без веревки, без веревки выйдет, сволочь, гадина такая, гадина такая, как и я...».

И все не уходил, стараясь, впрочем, от козырька опасного на расстоянии держаться. В ногах позёмкою вертелось. Был февраль, и из заносов снежных вдоль домов торчали голые опилки елок новогодних, и трепыхались, запутанные в ветках, шарики и ниточки серебряных дождей.

И вышел наконец Бобрыкин ненавистный из хозяйственного магазина, по лестнице поднялся беззаботный, не пугаясь оскользнуться, не держась перил, насвистывая и с веревкой... с обыкновенной самой... несинтетической, и не из австралийской ламы, не бельевой и не крепежной, а такой, которых нет и не было нигде...

Ветер дунул, плюнул, завыл, приподнял с козырька подушку снежную, рассеял в небе. Шишин зло, угрюмо на высокого, красивого Бобрыкина смотрел замерзшими глазами,

слезясь и щурясь, на Бобрыкина, женатого на Тане, похожего в пальто на Ланового, с веревкой новой, в черных кожаных перчатках с норковой опушкой, в сверкающих начищенных ботинках, и... ненавидел, ненавидел, ненавидел...

– Что? – спросил Бобрыкин.

Шишин промолчал. От ненависти у него сводило зубы.

– Что? – повторил Бобрыкин ненавистный, снова Шишин промолчал.

– Ладно, Шишкин, я пошел... бывай! – сказал Бобрыкин и пошел, пошел... красивый, безнаказанный, веревку новую, обыкновенную в карман пальто засунув.

«Душить меня пошел», – с тоской подумал Шишин, в спину Бобрыкину толкаясь взглядом, и, развернувшись, отбежал назад, нырнул за угол и параллельно двинулся, кустами, с обратной стороны домов. У арки Шишин выскочил внезапно, и, не успев Бобрыкин ненавистный удивиться, что снова Шишин ему попался на дороге, бросился, рыча, ему под ноги и в щиколотку впился, и повис, скрипя зубами. Но был Бобрыкин Шишина сильнее, схватил его за шкуру, поднял над поземкой, отшвырнул назад. Куда подальше. Отшвырнул – и Шишин отлетел, свистя, упал, ударившись, но больно не было ему, в губах скворчала пена. Головой мотая, поднялся Шишин и, набычившись, едва переставляя ноги, снова на Бобрыкина пошел.

Но не дался Бобрыкин Шишину и в этот раз, а лишь небрежно, легко опять приподнял и потряс...

И выпали из Шишина от тряски ключи и мелочь, стеклышко зеленое, дверная ручка, соль, сахар, спички, фольги кусок, и пара марок, билет счастливый, если бы не лишний правый ноль, который можно оторвать и съесть спокойно, гайки, длинный гнутый гвоздь, который молотком еще исправить можно, куриное перо, отвертка, ножик перочинный, скрепка, кнопки разноцветных три, три ненадписанных конверта, желудь и мандариновые корки, которыми карманы Шишина от моли набивала мать.

«Иначе все сожрет, не будет куртки», – вспомнил он.

– Все, Шиloxвост, сейчас узнаешь у меня... – пообещал Бобрыкин ненавистный и, Шишина не выпуская из перчатки, понес от светофора к арке.

«Душить несет...» – подумал Шисин и, мертвый, Бобрыкиным задушенный, но все-таки живой проснулся вдруг в своей постели и, сжавшись в запятую, тихо заснул...

Глава 2. Камера

Было страшно Шишину, что сон такой ему приснился страшный, что задушил его Бобрыкин ненавистный, как собаку последнюю, веревкой, и, только рассвело, он к матери пошел узнать, не вещи ли сны с субботы на воскресенье снятся.

Мать была в постели, читала книгу.

«Евангелие читает», – подумал Шишин хмуро. Шишин не любил, когда Евангелие читала мать.

Светила лампа. Босые ноги Шишину лизал сквозняк. «Это форточка у матери всегда открыта», – переступая в сквозняке ногами, думал Шишин и ждал, что мать ответит, не вещей ли ему приснился сон.

– Нет, не вещей, – сказала мать, но все же встала и, в стопочку налив святой воды, велела выпить залпом.

– Пей, от греха подальше, – сказала мать, и Шишин выпил залпом мутную густую воду, морщась от холодного и металлического вкуса. Остатками со дна мать окропила волосы ему и сверху три раза лоб перекрестила.

Шишин не любил, когда его кропят и крестят, и, встряхиваясь по-собачьи, втягивая пальцы в рукава, пошел скорей умыться и долго мылил язычком обмылка лоб и шею и волосы сушил, как будто их помыли, феном.

Был православный праздник Сретенья Господня, мясо-

пустная неделя, и на завтрак мать Шишину дала тарелку перловой каши, без молока и без изюма, и бутерброда с сыром даже не дала. Он попросил тогда у матери сварить ему сосиску, но и сосисок было Шишину нельзя на мясопустной.

В доме было тихо, скучно, тикали часы, журчал бачок. На кухне в облупленном и ржавом тазе яблоки пылились и мандариновая корка сохла на полу. Шишин задумчиво ходил по коридору, выглядывая из трельяжа, и, выглянув, показывал кривую рожу, делал страшно пальцы и, сделав страшно пальцы, быстро отходил.

– Докорчишься, чумной! Язык сломаешь, – сказала мать, по коридору проходя, и, сделав страшно пальцы матери в ссутуленную спину, Шишин снова посмотрел в трельяж. «Врет, – думал он, – язык так не сломаешь!» – И, высунув язык, до носа кончиком достал проверить, нельзя ли будет так сломать его. И вздрогнул.

– Вот напугают сзади, и останешься таким! – пообещала, обернувшись, мать. – И так – такой, а будет – хоть даvisь.

И в комнату ушла. На дверь закрылась.

«Не останусь...» – подумал он и, от трельяжа отойдя, издалека смотрел, с опаской, убедиться, что снова мать грозила на́ воду, зазря...

Мать за стеной Евангелие читала, ниже этажом Танюша с дочкой Оленькой жила. «Бобрыкин ненавистный тоже с ними», – думал он и, думая, садился на колени, и, отгибая ков-

рик, ухо к полу прислонял, чтобы услышать, как живут они, но ничего не слышал. «Надо все-таки Бобрыкина убить...» – подумал он и вышел в общий коридор, чтоб взять стремянку. Но стремянка грохотала, гремела, и на грохот вышла мать.

Мать была седая, длинная как палка, сердитая, в халате сером, беззубая. Из тапок торчали дырки пальцев с нестриженными желтыми ногтями.

– Чего полез-то? – неприятливо спросила мать и зло смотрела снизу, как Шишин на антресолях копошится.

– Ищу веревку, – буркнул он.

– Тьфу! – сказала мать.

– Бобрыкина повешу.

– Тьфу!.. – еще раз повторила мать и снова в комнату ушла.

«Бес вверх плюет, а ангел к низу», – подумал он и, вытянув веревку с антресолей, слез, убрал стремянку и в комнату свою пошел, на ключ закрылся, положил веревку на кровать, сел сверху, дальше думать стал. «Не будет Бобрыкин ненавистный стоять и ждать, пока я задушу его веревкой, – думал Шишин дальше, – он меня сильнее. Вырвет веревку и надает по шее, как в прошлый раз...» Шишин уже не в первый раз пытался задушить Бобрыкина веревкой, но все не выходило: то Бобрыкин ненавистный не оказывался дома, если Шишин заходил душить его, то дома были Оленька с Танюшей, а при них душить Бобрыкина неловко становилось, а то вдруг, раз-

глядев в руках у Шишина веревку, Бобрыкин отбирал ее, и приходилось Шишину идти за новой, в хозяйственный через дорогу или в другой хозяйственный, что тоже, как назло, через дорогу был.

Иногда, увидев нетерпеливо переступавшего под дверью Шишина с веревкой, Бобрыкин злился и мог крепко оттрепать за уши или брал нос Шишина в щепотку и больно крутил его, пока у Шишина в глазах не солонело.

Однажды Шишин вцепился в новую веревку и не хотел отдать Бобрыкину ее, и тот за это с лестницы спустил его, пообещав, что в следующий раз задушит Шишина и без веревки, голыми руками. «Мешок со сменкой, сволочь, на лампу в раздевалке вешал, – думал Шишин, – знал, что не достану, а буду прыгать, всех просить, чтоб сняли, а никто не снимет, а будут только гоготать, руками тыкать... Не люблю, когда руками и гогочут», – думал он.

«Ищите дурака другого гоготать и тыкать», – думал. Он любил, чтобы другого дурака искали тыкать, гоготать. Другого, не его. «В собачку еще мешком моим играли на перемене, в футбол в спортивном зале», – думал Шишин, сидя на веревке сверху, и делался мрачнее. «Танюша видела, как все мешком играли, моим мешком играли, не смеялась, одна из них из всех, из них из всех одна. А я смеялся, чтобы думали, что я смеюсь», – подумал он.

«От Танюши земляничным мылом пахнет...» – вспомнил Шишин и в ванную хотел пойти, понюхать мыло, но вовремя

сообразил, что мать, пока он в ванной будет нюхать мыло, может в комнату зайти. «Найдет веревку и отнимет», – подумал Шишин и мыло нюхать в ванну не пошел.

В третьем классе повесил Шишина Бобрыкин ненавистный на ветке клена. «За ногу повесил, гад, за ногу! Вниз головой повесил», – вспомнил он и, приподнявшись, достал из-под себя веревку, улыбаясь сумрачно и странно, на колени положил и гладил как живую. Как кошку гладят. «Хорошая веревка», – думал он. «Вот если бы наоборот, наоборот! – веревку на коленях собирая в петлю, думал он, – наоборот! Я был Бобрыкин, а Бобрыкин – я, то как бы задушил его тогда веревкой этой, как бы я его повесил!» – думал он и, встав, с веревкой вместе подошел к окну.

День зимний короткий, до Масленой недели сумерки в окно приходят рано, и, если включен свет, в окне двойится отражение. Шишин свет включил и в отражении Бобрыкиным себя вообразил, веревку на плечи накинуд и, затянув на шее петлю, показал Бобрыкину язык.

– Господи помилуй, ты опять?! – спросила мать из-за спины, неслышно в комнату войдя, и, вздрогнув, обернулся он с петлей на шее.

– Сними, чумной, беду накличешь! – сказала мать и отражение вместе с Шишиным перекрестила.

Он неохотно, пальцами слепыми распустил петлю и, сняв, веревку задумчиво перебирал в руках, по узелкам считая, чтобы не забыть, с какого начал. Шишин не любил, когда к

нему входила мать. Мать тоже не любила, если Шишин входит...

«Мать, кстати, тоже можно задушить веревкой, все равно не любит», – подумал он и посмотрел на мать внимательно, с шестого узелка.

– Что вылупился?! Дай сюда! – велела мать и быстро подошла, отобрала веревку. – За хлебом, душегуб, сходи!

Всегда ходил за хлебом Шишин. Постоянно. Как на почту. Каждый день ходил. Как будто мыши в хлебнице на кухне жили.

– Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня можно, праздник, – объяснила мать, пока возился Шишин в коридоре, пальцем помогая влезть ноге в запяť.

– Да хоть бы ложку взял, как люди, идиот! – сказала мать.

«Зачем мне ложка, – удивился Шишин, – если я ботинки надеваю?.. И что за праздник, когда нельзя сосисок, колбасы сырокопченой, сала... И кашу с утра перловую дала без молока и без изюма?» – думал он и, взяв протянутую пятисотку, недоуменно посмотрел на мать.

– Иди-иди... Господь с тобой, – сказала мать, и Шишина опять перекрестила.

«Живого места нет на теле от креста», – подумал он и, низко натянув собачью шапку, вышел.

Шишин вышел.

Мать за ним закрыла.

В общем коридоре было тесно, пыль на старой мебели ле-

жала, пол прилипал к следам, линолеум вздымался пузырями и, лопаясь, ботинками хрустел. Вверху под потолком на крючьях ржавых висели лыжи, камера велосипедная на них. Он сделал вид для матери, которая всегда в глазок смотрела в спину, что уходит, и вернулся, пятясь, за камерой велосипедной. Встал на табурет, чтоб дотянуться, снял ее и, сжав в руках, по черной лестнице пошел. За хлебом.

На лестничной площадке увидел Шишин ненавистного Бобрыкина, стоявшего спиной к нему, согнувшись. Бобрыкин ненавистный в длинном бархатном халате мусор вытряхивал в контейнер, и страшно, как к покойнику овчарь, выл ветер в мусорной трубе. Тихонько крался Шишин, камеру велосипедную петлей сжимая, и, так же тихо прокравшись мимо, обернулся, добежав до нижнего пролета, и, снизу посмотрев наверх, велосипедной камерой в Бобрыкина швырнул.

Пельменями из дворницкой тянуло, кислым мясом, там жили люди в таджикских байковых одеждах, с тюрбанами, с зубами золотыми, без креста. В лифтовой шахте копошились крысы, где-то в доме открывались и захлопывались двери, мигала тускло лампа, ящики почтовые тянулись вдоль стены.

Над ящиками было рукой врага написано: ГАНДОН!

Дверь за собой захлопнув, Шишин с черной лестницы в парадное ворвался, спиной к двери прижавшись, замер, при-

слушиваясь, не идет ли следом Бобрыкин ненавистный с камерой велосипедной, чтобы задушить его, но тот не шел, и, подождав немного, Шишин вдоль почтовых ящиков шмыгнул к своей ячейке и, на лифты косясь украдкой, чтоб не распахнулись, быстро вставил в дверцу ключ, та приоткрылась. Глаза зажмурив, Шишин осторожно руку в почтовый ящик опустил. Всегда зажмуривался Шишин, когда не знал, что в ящике почтовом. «А этого никто не знает, никогда», – подумал он. «Засунешь руку, – думал он, – а там вдруг кошка, например, сидит. Возьмет и тяпнет. Откусит палец по колению, буду знать...»

Или Бобрыкин ненавистный ворону дохлую опять подложит...

«Никогда не знаешь, что там может быть», – подумал Шишин, вспоминая, как в третьем классе Бобрыкин ненавистный дохлую ворону подложил в портфель ему. «Бобрыкин ненавистный!» – думал он и никогда не лазил в ящик с открытыми глазами, каждую секунду готовый спрятать руку и одновременно опасаясь, как бы за спиной не распахнулся лифт и из него не вышел сам Бобрыкин с камерой велосипедной, чтобы задушить его. «Бобрыкин ненавистный...» – думал он.

Вороны не было, на дне конверт нащупал Шишин, схватил его и, с облегченьем к груди прижав, стоял, не открывая глаз, и так стучало сердце под конвертом, точно перепрыгнуло из Шишина в конверт. Почерком Танюши ровным, точно

в прописной тетради, значилось в линейке адресата:

Шишину от Тани.

Улица Свободы, 23.

«*Шишину от Тани...*» – Шишин прочитал, вздохнул и выдохнул, лицо в бумагу спрятал и долго дышал чернилами и типографской краской, клеем канцелярским, лакрицей, жженым сахаром, корицей, монпансье и мылом земляничным... и той рукой, что выводила: *Шишинуоттани! Тани-Тани-Тани! Трам-пам-пам!..* – стучало сердце.

Щекотно было, запах светом солнечным сочился. Перцем лестничная пыль глаза слепила, и расплывались строчки на губах. *От Тани, Тани! Тани! Тани... Трам-пам-пам!*

Все расплывалось, растворялось, все стучало! Все! Пельменный запах, лампа, батарея, мать за дверью, тусклая вода... и растворилось, все пропало, все исчезло... Все! Трам-пам-пам! – стучало сердце, и Шишин не заметил, как огоньки табло над лифтом вверх вбежали и быстро заскользили вниз.

«*Шишину от Тани...*» – опять подумал он, нос защипало радостно, как одуванчиками в мае, мятным леденцом, кленовым медом...

Весенней пылью.

Коркой ледяной.

Полынью пыльной у забора.

Черешней, что с Танюшей ели из газетного кулька, вдвоем, и воблиным хвостом.

Ореховым колечком.

Кексом кулинарным в коричневой промасленной бумаге.

Киселем в брикете.

Крем-брюле...

Черемуховым снегом.

Варежки комочком, сухарем с изюмом, конфетой «Ласточка», кремнем о кремень, корой сосновой и янтарной пылью, которую закатные лучи в библиотечных школьных полках собирают...

Он не удержался и чихнул, забыв в рукав прикрыться, рот перекрестить забыв...

– Здоров чихать, брателло! Пей скипидар, ты нужен людям! – сказал Бобрыкин ненавистный, выходя из лифта, и к Шишину неторопливо, усмехаясь, пошел, чтоб отобрать письмо и камерой велосипедной задуть его...

– Смотрю, ты, брат, опять чего-то замышляешь? Ишь как нахохлился, ну, сознавайся, что молчишь? Молчишь? И хрен с тобой! Держи!

И камеру велосипедную на шею Шишину накинув, Бобрыкин ненавистный мимо прошагал, к своей ячейке, достал газету и, опустив ее в карман просторный длинного халата, дверь распахнул на лестницу и скрылся.

Глава 3. Два капитана

В тягостном раздумье Шишин из подъезда вышел, оглянулся, но дверь уже закрылась. Он мрачно заморгал на острый талый свет. Хотелось рот прополоскать от страха, язык заплесневел, разбух, как будто мать дала на полдник подлой вязовой хурмы, и было не очистить рта теперь от рыжего крупитчатого мха. Он пуговицу слабыми руками поискал за ворот, но тошно стало пальцами озябшими искать, и он оставил так. Кивая кротко, пестрый голубь в серых жабрах мимо прохромал и сел, нахохлившись, на люке, грелся, тускло кося на Шишина больным и глупым глазом. Шишин оживился, сунув руки по-бобрыкински, с морщинкой в карманы тощей куртки, неспешно подошел и, приготовив ногу голубю, сказал: «А ну... пошел!» И для острастки немного приподнял колено, чтобы голубь знал. И голубь вверх поднялся в дне холодном, переместившись так на следующий люк.

Припорошило, из пустого неба летели косо белые колючки, в проталинах собачьих песым стыло, на площадке детской ветер зауспокойную качелями играл, как будто мертвеца баюкал, а тот все кашлял, кашлял, кряхтел, вздыхал простуженно и страшно. Шишин растерянно стоял, не зная, как бы взять да и домой вернуться сразу, как и вышел, без хлеба, без селедки, почитать письмо... Открылась подъездная, Шишин оглянулся. На ступенях, поправляя санки, стояли Оленька

с Танюшей, и те же были санки и подушка, привязанная к спинке, та же... та же самая казалась Шишину метель...

– О! Шилохвост, брателло! Давно не виделись, примерз? – спросил Бобрыкин ненавистный, появляясь следом, и Оленька смеялась, на Шишина показывая варежкой, что он вот так стоит, как будто бы примерз, и прыгала и хлопала в ладоши, чтоб не примерзнуть тоже, и Шишин улыбнулся Тане, что мог давно примерзнуть, а все же, выходило – не примерз...

С разбегу ветер налетел на мусорные баки, заскулил и, грохнув кровельным железом, потряхивая и крутя, понес за трубы ТЭЦ ошеломленную ворону. Рвануло провода, шрапнелью разлетелись с тополей и кленов остальные твари.

Танюша обернулась, помахала, но ветер вздернул ворот, запорошил, отвернул лицо. Мир, занесенный снегом, не кончался, все тянулся вдоль забора к арке, подглядывая из окошек школьных, шел по часовой. Он спрятал соловеющие уши в картонный ворот куртки, натянув пониже песьи уши, и за селедкой против часовой пошел. Пошел то боком, то спиной, с упором, как всегда бывает, если против часовой...

Здравствуй, мой родной, хороший Саня... – Шишину писала Таня. «Здравствуй, моя родная, хорошая, любимая Танюша», – думал Шишин, письмо Танюшино читая.

Как твои дела? У нас все хорошо, вот только не уходит

все проклятая зима. Весна почти в календаре, а за окном такая стужа, что нос не покажи.

А помнишь, Сашка, как в детстве мы с тобой любили зиму? Как ты на санках катал меня, и на картонке вниз по горке вместе? И все свистит в ушах! Так здорово! Такая жуть! И об забор! И нос и щеки всё мороз кусает, пока на варежке снежинку несешь домой. Желанье загадаешь, чтоб не растаяла она, пока дойдешь, она не тает... И всё сбывается, как загадали... всё! А помнишь, как я загадала себе на Новый год коньки? Сбылось! Сбылись! Какие белые, красивые коньки...

Как ели снег! Какой был вкусный снег! Невероятно, Сашка...

Как прилипал язык к замку, когда играли, у кого прилипнет крепче... Вот же дураки!

А помнишь, как морковку в овощном стянули, для снеговика... А нас поймали! Отругали? Но отпустили... помнишь? Помнишь, милый, какой был синий, какой скрипучий в детстве снег?

Он только холоден сейчас, он грязен, с ботинок не отмоешь соли, гуталин не помогает даже, и день не тот, и ночь не та...

А помнишь, как мы крепость строили за голубятней старой, и вдруг пришел Бобрыкин, всё разрушил... Всё...

«...помню», – думал Шишин, письмо Танюшино читая,

он и в самом деле прекрасно помнил, как Бобрыкин ненавистный пришел за голубятню, всё разрушил... «Всё!»

– Ты есть идешь? Остынет! Сколько можно звать? – спросила мать, распахивая дверь, и, вздрогнув, Шишин рукавом от матери прикрыл письмо.

Мать не любила, чтоб от Тани приходили письма. И не велела Шишину читать.

– Опять?! – спросила мать, заметив, что Шишин под рукав чего-то спрятал. – Давай сюда! А ну!

Он протянул листок, и, скомкав, опустила мать письмо в карман халата, и вышла, хлопнув дверь.

«...Мать тоже камерой велосипедной можно задушить», – вслед матери подумал он и руки земляничным мылом мыть пошел перед обедом. «Задушу ее, чтоб письма мне Танюшины читать давала», – думал, смывая земляничный запах с рук, и снова мылил, мылил и смывал... Пока от мыла в пальцах не осталась только пена.

– Санька, ты смотрел «Два капитана»? – однажды Шишина спросила Таня.

– Нет, – ответил он.

Мать Шишину не разрешала смотреть «Два капитана». «Глаза себе испортишь», – говорила мать. И Шишин не смотрел.

«Чтобы глаза не портить, лучше не смотреть».

– Я расскажу тогда! – сказала Таня и рассказала Шишину «Два капитана».

О верной дружбе, верной дружбе и о вечной, вечной о любви.

Про Саню с Катей и Ромашку, про какого Шишин сразу же решил, что тот Бобрыкин ненавистный будет.

«Я летчиком полярным стану. Бобрыкин ненавистный Тане скажет, что меня убили, а я пока открою Северную землю и назову ее в честь Тани – Таней! И однажды придет ко мне она, где я полярным летчиком работать буду, и скажет: “Здравствуй, Саня... это я!” Да, так и скажет: “Здравствуй, Саня, это я!”»

И думал Шишин о любви прекрасной, вечной, верной дружбе, и вспомнил вдруг, что Саней звали его когда-то люди, а теперь все Шишиным зовут они его...

«Бороться и искать, найти и не сдаваться! – сказала Таня. – Поклянись!» И в домике зеленом, под горкой ржавой во дворе, поклялся Шишин бороться и искать, найти и не сдаваться...

– Ты навсегда клянись! – сказала Таня.

– Я навсегда! – поклялся он.

«А если найдет Бобрыкин ненавистный первым Северную землю, убью Бобрыкина тогда и отниму», – подумал он.

– Ты что там делаешь, чума?! Поминок ждешь моих? – по двери постучав, спросила мать.

– Я умываю руки, – буркнул Шишин и краны от греха по-
дальше закрутил.

Глава 4. Приближе к нему

Приснилось страшное. Пустую колыбель качала мать, и колыбель скрипела, будто по стеклу удавленники пальцами водили.

«Темная сегодня, Саша. Зимней Анны день.

Теперь до самого Солнцеворота так и будет тьмить», – сказала мать и лампу тряпочкой прикрыла. Села, облокотясь о стол, вздохнула тяжело, забормотала «мытари мое...».

«...Приближе к Нему мытари и грешники одне, убийцы, изверги, насильники, своекорысти! Сестры Лия и Рахиль – блудницы, как эта тварь твоя, и слушали его, и ели с ним хлеба, и называл их “соль земли”. И только фарисеи, Саша, ропотали, как ты, блажили и не слушали его, как ты не слышишь мать... Порог переступи, сказала! Ну? Нечистый влезет! – И Шишин поскорей переступал порог, обитый изоляционной лентой, с корочкой отодранных газет и тополиной пыли. – И говорили, и роптали: “Он принимает грешников, и вместе с ними угощает нас, и сам их пищи ест...”» – бубнила мать, ссыпая соль в тряпичку из кулька, завязывала в узелок и прятала в карман пиджачный, «на память, Саша, не забыть урок. Смотри не потеряй!», крестила спину: «Господи храни», – и в голове вертелось «ближе к Нему», и Шишин все уроки потрошил мешок в кармане, на пальце указательном облизывая соль. И хлебную солил горбушку, мякиш, и соли

в Танину ладошку высыпал.

Бродили тени по ступеням, глухо, сонно выл ветер в мусорной трубе, и молчаливые тома на полках жались в два ряда, Карл Энгельс, Фридрих Маркс – «или наоборот?» – подумал он, – Иосиф Сталин, «Родная речь» за пятый класс, «Айвенго», «Книга о вкусной и здоровой пище», СССР, 1952, где все картинки можно взглядом есть. Салат «Весна», «Форшмак», «Миноги».

– Миноги – это что?

– «Готовые миноги нарезать поперек, кусками длиной четыре сантиметра, сложить в салатник...» – хмурясь, прочитала Таня, – я не знаю...

– Вкусные, наверно...

– А то! А это – чур мое!

– А я вот это...

– Ого! Паштетик из печенки!

– О! «Поросенок заливной»! Ням-ням!!!

– «Хрен с уксусом», уйя-а-а! Какая гадость!

– А корнишон?..

– А у меня стерлядь!

– Дичь... Я дичь! Ты тоже дичь! Татьяна Николавна дичь несет! Подайте дичь! Ха-ха! Ух ты... ого...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.